

**Соболевская Е. К.**

доктор философских наук

**МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ ПРО УХОДИТЕМ НЕ МЕНЕЕ...**

В нашей жизни есть события, переживание и осмысление которых ни с чем иным не сопоставимо. Мы, безусловно, в той или иной мере сознаем и переживаем факт скоротечности нашего земного бытия, нашей собственной, каждому из нас предстоящей смерти. У нас есть опыт умирания и, тем не менее, нет опыта непосредственно своей смерти, как она в действительности осуществится. Мы не можем ни осознать, ни пережить свою смерть в качестве события своей жизни. Однако на протяжении своей жизни мы обречены, и обречены, как правило, не единожды, переживать, проживать и осмысливать смерть другого человека, и не просто какого-то там *другого*, который время от времени был в сфере нашего внимания, но – *другого-близкого, другого-любимого*, с которым мы разделяли свою жизнь и с уходом которого единожды данная нам жизнь теряет всякий смысл. В нашу тревожную эпоху, когда так непредсказуемо смещаются ценностные ориентиры, когда одни утилитарные цели подменяются другими, не менее утилитарными, когда большинство мыслящих людей в лучшем случае заняты своей смертью или же смертью как объектом изучения, *смерть другого* по-прежнему остается событием первостепенного порядка, ибо другие, близкие нам другие, не перестают умирать, и воспрепятствовать такому положению вещей мы не в силах... Смерть другого, *любимого-другого*, является всегда событием первостепенной важности, событием понуждающим нас к предельным вопросам ещё и потому, что **именно эта смерть** и на самом деле ставит нас перед фактом осознания своей неизбежной смерти и – тем самым – своей пока ещё не завершенной жизни.

Самое страшное, с чем мы сталкиваемся в связи со смертью наших близких, это очевидность безличной смерти, то есть такой смерти, которой умирает каждый: смертью как реальностью биологического порядка. Определенная болезнь несет всем заболевшим ею одну и ту же смерть, один и тот же летальный исход, готовый, обезличенный. К этому практически не поддающемуся осмыслению и принятию факту неизбежно добавляется и ощущение внезапного одиночества, буквально-таки беспросветного сиротства, которое, в свою очередь, усиливается уже не воображаемой, а практически воочию явленной картиной моей собственной безличной смерти: так умирают не только *другие*, но и я. В итоге смерть *другого* настолько угнетает нас, что мы

вообще отказываем ей в праве на существование: будучи пустой формой, она никак не соединяется с конкретной, единичной, дорогой нам жизнью *другого* и моей жизнью, конкретной, единичной, не менее дорогой, которая вот-сейчас может прерваться. Мы собираем как будто сами собой восстанавливающиеся события прошлого, живем ими, живем в них и исключаем смерть.

Жизнь заканчивается родами смерти. Умерший не видит результатов собственного труда (по крайней мере, земными глазами), не может созерцать в смерти рождение плода своих взятых во всей совокупности жизненных усилий и поступков, поскольку его смерть для него самого выступает в качестве некой трансценденции, вынесенной за пределы земного существования и, тем не менее, в смысловом отношении сращенной с ним. Смерть обеспечивает полноту моего существования в режиме уже не потенциальной, но актуальной бесконечности, и точнее – *полноту существования меня в этом режиме*, но уже *другого-меня*, когда уже не я поступаю, не я мыслю, но нечто мыслится, домысливается или же обесмысливается, тем или иным образом поступает вне моего прямого в нем участия – нечто обусловленное мной совершается через меня, но не мной непосредственно. Моё уже молчание, моя уже неспособность говорить на языке живых позволяет живым поступать хотя и в перспективе мною сделанного, однако в меру их самостоятельного разума.

Будучи абсолютно трансцендентной для меня, моя смерть, тем не менее, не является абсолютно трансцендентной для *другого*, ещё находящегося по эту сторону жизни. Тут действует некая великая пожизненная парадоксальность события бытия: человек закончил свой земной путь, определился в границах рождения и смерти, сказал свое последнее слово... Или же точнее: земной путь человека закончился, определились границы его рождения и смерти в своей соотнесенности друг с другом, и тем самым одно из сказанных им слов среди неисчислимого множества других определилось в качестве слова последнего. И все же, если это действительно бесконечно дорогой нам человек, он пребывает в нас, мы обращаемся к нему как к *другому*, надеемся либо же находимся в полной уверенности, что он и на самом деле знает (а может быть, знает и лучше нас самих) обстоятельства нашей сейчас-здесь жизни, слышит и видит нас, поступающих, переживающих, творящих, сорадуется и сострадает нам, однако не в силах напрямую об этом заявить. В таких далеко не частых случаях умерший как бы прорастает, укрепляется в самой материи нашего сознания: он не

вспоминается между делом и не просто наличествует, а фактически присутствует. Да и какое, собственно, у нас есть другое более важное и насущное дело, кроме как находиться с ним в непрерывном со-общении!?! И когда мне так называемые живые в данной связи говорят *не нужно жить прошлым*, они не понимают самой сути происходящего, ибо я-то как раз пребываю в этом благодатном опыте со-общения именно в настоящем, всегда в настоящем.

**НО** (и всё кроется в этом неотвратимом «но»), со-общаясь с умершим в настоящем, мы почему-то обращаемся к нему не как *другому меняющемуся, становящемуся, развивающемуся*, а как к *тому другому*, который уже не меняется и не становится. Мы взаимодействуем с ним как с тем, которого мы знаем/знали по прошлому опыту жизни, и заключаем в соответствии с тем опытом, как он бы *сейчас* на происходящее *здесь* посмотрел и отреагировал. Умерший смотрит и реагирует (для нас и через нас) на происходящее здесь-и-теперь своими тогдашними, тамошними глазами. Исходя из какой-то необоснованной внутренней предзаданности, нами, по обыкновению, не допускается, что он мог бы посмотреть как-то совершенно иначе, чем прежде смотрел, и сказать что-то совершенно иное, чем прежде говорил... Мы сами волей-неволей лишаем умершего внутренней свободы и не принимаем в расчет чего-то с его стороны вообще не предсказуемого и уж тем более – не можем надлежащим образом помыслить его совершенно инаковую реакцию с позиций уже возможного *всевидящего* и *всеслышащего там*, ибо мы сами принципиально не инаковы. (Другой вопрос, насколько нам такая реакция необходима и почему мы все же испытываем в ней нужду, ежели каждый из нас поступает, пусть и в свете вечности и вселенскости, но всё же здесь-и-теперь со своего единственного в бытии места.) И, тем не менее, вопреки такой, казалось бы, окончательной завершенности умершего, мы, продолжающие во времени развиваться, обращаемся к нему с новыми и новыми вопросами, которых раньше у нас и не возникало, рассказываем ему то, чего раньше не рассказывали и ни при каких условиях не рассказали бы. Умершие не перестают быть живыми и значимыми, они продолжают действовать во мне и вне меня, в нас и вне нас: то, что ими было сделано и сказано, продолжает сказываться и делаться в нас и в мире. Они воздействуют на структуру нашей личности, благодаря им осуществляется формирование наших ценностных ориентиров, нашей человеческой сущности, нашего телоса. Не только мы таким образом приобщаем их уже нашему настоящему времени как живых соглядатаев,

гласных и негласных участников происходящего, но и они, казалось бы, безвозвратно ушедшие за черту времени, приобщают нас этому самому времени. Стало быть, исходя из такой невольной выстроенной современности миров, мы только укрепляемся в осознании того, что, с одной стороны, умершие уже *там* и сказали своё последнее слово, но с другой – они всегда здесь, и последнее слово ими не сказано. И потому нам придется держать ответ не только перед Богом, но и перед ними, и не исключено, что перед ними – в первую очередь, ибо *настанет время и настало уже...*